

«ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» Ф. ДОСТОЕВСКОГО: МЕТАФИЗИКА ЧЕЛОВЕКА

И.И. ЕВЛАМПИЕВ

«Метафизическое» одиночество каторжных людей

«Записки из мертвого дома» имели в творчестве Достоевского совершенно иное значение, чем предшествующие сочинения. Уже в самых ранних художественных произведениях писатель пытался поставить принципиальные проблемы, касающиеся смысла человеческого существования, пытался понять, что определяет бытие человека в мире. При этом писатель обращал внимание не столько на явные, эмпирические проявления человека, сколько на его сущностные характеристики, которые, будучи представленными в образах персонажей художественного произведения, часто выглядели совершенно «фантастически». Но именно эти фантастические образы помогали понять жизнь и происходящие в ней события гораздо лучше, чем традиционное внимание только к явно выраженным и ясно определенным характерам и типам. Наблюдение за каторжной жизнью и каторжными персонажами дало Достоевскому уникальный материал для подтверждения глубокой правоты его художественного метода и его философских воззрений на человека. В экстремальных условиях каторги с людьми быстро «слетали» казавшиеся такими устойчивыми «нравственные качества», которые мы в обыденной жизни считали самыми главными в них. В людях обнажалась некоторая первоисходная простота, непосредственность, т.е. то, что в большей степени можно было назвать *их метафизической сущностью*.

Начинается повесть с описания личности формального автора записок Александра Петровича Горянчикова, по смерти которого издателю записок, как представляет себя сам Достоевский, и достались все его бумаги. Ключевым словом в указанном описании является «загадка». Вот как описывает Александра Петровича Достоевский: «В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его долгие расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону»¹.

Главным качеством Александра Петровича оказывается какое-то невероятное *одиночество*, выходящее за рамки того, что мы привыкли видеть в обыденной жизни. Здесь, как и во многих других случаях описания Достоевским сущностных, а не эмпирических характеристик человека, лучше всего подошел бы термин *метафизическое одиночество*. Этот человек как бы «физически» страдал от отсутствия каких-то чрезвычайно важных элементов своего бытия, которые связывают людей друг с другом и которые жизненно необходимы для каждого человека, хотя обычно мы не замечаем их — именно в силу их неотъемлемой привычности.

Здесь Достоевский подходит к идее, которая станет одной из главных в первом из его больших романов — в «Преступлении и наказании». Это представление о глубокой взаимосвязи всех людей в рамках какой-то сверхэмпирической системы отношений, абсолютно реальной в своем онтологическом статусе, хотя и незаметной в эмпирической жизни. Присутствие этих отношений человек замечает только тогда, когда происходит их радикальное искажение или даже разрушение, что очень часто ведет его к гибели. Наиболее явно этот процесс происходит в случае нарушения главной заповеди этих отношений — «не убий».

Александр Петрович представляет собой первый выразительный пример убийцы, который переживает разрыв жизненных связей с другими людьми, что выражается в невозможности нормального общения и неадекватном поведении, заставляющем окружающих думать о том, что он сумасшедший. Позже в образе Раскольникова Достоевский со всеми возможными деталями покажет ощущения человека, который после совершения убийства оказывается в ситуации распада связей с другими людьми и, как следствие, распада самой ткани жизни. Парадоксальность Александра Петровича заключается в том, что несмотря на совершенное убийство (а убил он свою жену — из ревности), он представлен в «Записках из мертвого дома» абсолютно порядочным человеком. Согласно общему мнению, которое передает Достоевский как издатель записок Горянчикова, тот «живет безукоризненно и нравственно», поэтому один из чиновников даже без боязни пригласил его давать уроки французского языка своим дочерям.

Описывая каторжное «общество» в целом, Достоевский подчеркивает ту же черту, которая ярко выражена в образе Александра Петровича — радикальную *обособленность* каторжан, их *одиночество*, лишь формально заключенное в форму многолюдного и тесного общежития. Здесь как раз отсутствует то подлинное общение, которое превращает «сожительство» людей в действительное *общество* и которое заключается в том, что люди постоянно «поддерживают» друг друга в своем существовании.

Обратим внимание на характеристику «каторжного народа» на первых же страницах повести: «...весь этот народ, — за некоторыми немногими исключениями неистощимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, — был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему не удивляться была величайшею добродетелью. Все были помешаны на том, как наружно держать себя»². И еще: «...сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни»³. Угрюмость, завистливость, обидчивость, интриганство и т.п. — это качества, которые говорят об отсутствии естественных и глубоких отношений между людьми. Но когда глубокие отношения отсутствуют, хоть какая-то цельность общежития (противостоящая «войне всех против всех») может быть достигнута только за счет строгого соблюдения формальных законов. Именно поэтому Достоевский несколько раз отмечает «формализм» как главное качество каторжных людей; утратив *органические* связи, они могли сохранить общение только на самом поверхностном уровне, как *пустую форму*, лишенную содержания: «...между арестантами почти совсем не замечалось дружелюбия, не говорю общего, — это уж подавно, — а так, частного, чтоб один какой-нибудь арестант сдружился с другим. Этого почти совсем у нас не было, и это замечательная черта: так не бывает на воле. У нас вообще все были в обращении друг с другом черствы, сухи, за очень редкими исключениями, и это был какой-то формальный, раз принятый и установленный тон»⁴.

«Воля к власти» как важнейшее определение человека

В условиях такого поверхностного, формального, лишенного подлинного содержания общения с гораздо большей ясностью выступает второй полюс человеческого существования — претензия человеческой личности быть *центром всего бытия*. Эта тема всегда была в центре внимания Достоевского, причем самые парадоксальные примеры проявления этого качества он давал, показывая самых униженных и незначительных людей, которые вдруг осознавали, что и в них есть это качество, это неискоренимое желание *подчинить себе весь мир*. Для таких людей оно оказывалось роковым, поскольку так пугало их самих своей «незаконностью», что вело к сумасшествию и гибели.

Именно этот смысл имеет странная история чиновника, представившего себя Гарибальди, из фельетона «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861), писавшегося одновременно с работой над «Записками из Мертвого дома». В безгрешном, безвольном, робком человеке вдруг родилась мысль о том, что он — тот самый Гарибальди, который вызвал возмущение во всей Европе. «Весь божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его.

Он одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все... Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во всем, я – Гарибальди, делайте со мной что хотите!»⁵ Ну и сделали – свезли его в сумасшедший дом.

Похожий мотив появляется в рассказе «Господин Прохарчин» (1846). В конце рассказа герой ощущает постоянное беспокойство оттого, что его могут уволить из канцелярии. Когда Марк Иванович, один из сожителей Прохарчина по квартире, пытается успокоить его, доказывая, что такого смиренного и покорного человека не могут уволить просто так, Прохарчин вдруг заявляет: «Я не того... Ты пойми, ты пойми только, баран ты: я смиренный, сегодня смиренный, завтра смиренный, а потом и несмиренный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!»⁶ В этот момент Марк Иванович с удивлением опознает в мировоззрении Прохарчина то самое странное чувство, о котором говорилось выше: «Что вы, один, что ли, на свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон или нет?»⁷ В результате и Прохарчин не выдерживает посетившего его ощущения своей особой роли в бытии (своего метафизического «бонапартизма»), он впадает в горячку, а затем умирает.

Гораздо более подробно и явно та же тема рассматривалась Достоевским в повести «Хозяйка» (1847). Один из героев этой повести, старик-раскольник Мурин, предстает как человек, обладающей поистине мистической силой влияния на окружающий мир, он подчиняет своей воле не только людей, но и ход событий. В определенном смысле об этом же была и повесть «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), где совершенно невзрачный на первый взгляд Фома Фомич Опискин каким-то непонятным образом подчиняет своей воле всех без исключения обитателей дома полковника Ростанева, у которого он фактически является приживальщиком.

Достоевский в своих философских размышлениях о «тайне» человека очень рано пришел к убеждению, что во внутренней сущности *каждого* человека живет стремление стать «господином» всего окружающего бытия, подчинить своей воле все вокруг. Наиболее точный термин для указанного стремления – *воля к власти*. Хотя Достоевский прямо не употребляет такое словосочетание, «воля» и «власть» по отдельности являются чрезвычайно важными терминами его языка, и они явно тяготеют друг к другу, как, например, в описании причин внезапного куража арестантов: «...покуражиться арестант ужасно любит, то есть представиться пред товарищами и уверить даже себя *хоть на время*, что у него воли и власти несравненно больше, чем

кажется...»⁸. Так что указанный термин вполне адекватен размышлениям Достоевского о «сильных» и «слабых» личностях, об их отношениях и роли в обществе. Использование известнейшего термина из философии Ф. Ницше в данном контексте представляется вполне уместным также и в связи с тем, что, по нашему глубокому убеждению, важнейшие принципы философии Ницше почти буквально совпадают с важнейшими принципами философского постижения человека у Достоевского⁹, что заставляет думать о *прямом заимствовании* этих принципов из сочинений Достоевского — заимствовании, которое Ницше, возможно, скрывал. Подавляющее число исследователей отрицает влияние идей Достоевского на Ницше до 1887 г., поскольку в письме к Ф. Овербеку от 12 февраля 1887 г. Ницше утверждает, что раньше даже не знал имени Достоевского и только недавно впервые познакомился с его произведениями, переведенными на французский язык («Хозяйка» и «Записки из подполья»). Однако, очень может быть, что в упомянутом письме Ницше сознательно исказил реальные обстоятельства своего знакомства с произведениями Достоевского — именно для того, чтобы скрыть этот важнейший исток своего творчества¹⁰.

В историях преступников, с которыми он познакомился на каторге, Достоевский находит выразительное подтверждение идеи о стремлении к власти над другими людьми (о «воле к власти») как важнейшем слагаемом сущности человека. Поскольку каждый обладает своим уровнем развитости «воли к власти» и в различной степени реализует ее в мире, люди оказываются *принципиально неравными* в своем социальном общении. Чрезвычайно распространенным является убеждение в «демократизме» воззрений молодого Достоевского, выражающемся в том, что он выступал за права самых обездоленных и униженных людей. Это, безусловно, правильно, но это вовсе не означает, что Достоевский признавал всех людей равными в их значении в жизни. Наоборот, уже в первых своих сочинениях он настойчиво проводит мысль, что даже при обеспечении минимальных равных прав каждому, одни выберут путь господства, а другие *добровольно выберут подчинение*. Именно так изображены отношения старика Мурина с его молодой женой Катериной в «Хозяйке»: Катерина, названная в повести «слабым сердцем», сама выбирает путь «рабства», но парадоксальным образом это полностью соответствует ее желаниям, и в ее «рабстве» простиупает странная способность направлять своего «господина» туда, куда она сама хочет¹¹.

Люди «слабого сердца», добровольно ищущие подчинения и в этом подчинении находящие не только удовлетворение, но и парадоксальный способ реализовать свою собственную «волю к власти», появляются и в «Записках из Мертвого дома», когда автор записок (Горяничков-Достоевский) рассказывает о заключенных, которые до-

бровольно служили ему: «Характеристика этих людей – уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у них уж так по природе»¹². Но при этом писатель вынужден констатировать, что итог таких отношений часто был противоположным тому, что виделось с внешней стороны: «...решительно не понимаю, как это всегда так случалось, – но я никогда не мог отказаться от разных услужников и прислужников, которые сами ко мне навязывались и под конец овладевали мной совершенно, так что они по-настоящему были моими господами, а я их слугой...»¹³.

Но все-таки не эта парадоксальная диалектика «раба» и «господина» выходит на первый план в повести, а попытка понять «волю к власти» в ее наиболее прямом и ясном выражении – в ее выражении в по-настоящему *сильных* и *решительных* людях, которых, как пронизательно замечает Достоевский, на каторге, как и в обычной жизни, «было довольно мало»¹⁴.

Достоевский констатирует, что попав на каторгу, он, как и любой нормальный человек, считал самыми страшными преступниками тех, кто совершили по несколько убийств. Но внимательное наблюдение за каторжанами заставило его изменить это мнение: «Иной и не убил, да страшнее другого, который по шести убийствам пришел»¹⁵. И далее он описывает тип «нестрашного» убийцы: «Существует... и даже очень часто, такой тип убийцы: живет этот человек тихо и смирно. Доля горькая – терпит. Положим, он мужик, дворовый человек, мещанин, солдат. Вдруг что-нибудь у него сорвалось; он не выдержал и пырнул ножом своего врага и притеснителя. Тут-то и начинается странность: на время человек вдруг выскакивает из мерки. Первого он зарезал притеснителя, врага; это хоть и преступно, но понятно; тут повод был; но потом уж он режет и не врагов, режет первого встречного и поперечного, режет для потехи, за грубое слово, за взгляд, для четки, или просто: “Прочь с дороги, не попадайся, я иду!” Точно опьянеет человек, точно в горячем бреду. Точно, перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого; точно подмывает его перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой, насладиться этим замиранием сердца от ужаса, которого невозможно, чтоб он сам к себе не чувствовал... И случается это все даже с самыми смиренными и неприметными дотеле людьми. Иные из них в этом чаду даже рисуются собой. Чем забитее был он прежде, тем сильнее подмывает его теперь пощеголять, задать страху»¹⁶.

Но разгул свободы у таких людей продолжается очень недолго. Как только их хватают и направляют в острог, все это «настроение» мигом с них слетает, и они предстают такими же тихими и смиренными,

какими были до вспышки своей «воли к власти»: «Приходит в острог, и смотришь: такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него: “Да неужели это тот самый, который зарезал пять-шесть человек?”»¹⁷. Такой человек потом всю жизнь вспоминает про свой «удалой размах», гордится и тщеславится им, видимо, инстинктивно понимая, что в тот момент в нем проснулось что-то самое глубокое и важное, что-то *самое свое*. «Иногда... потешит себя, вспоминая свой удалой размах, свой кутеж, бывший раз в его жизни, когда он был “отчаянным”, и очень любит, если только найдет протычка, с приличной важностью перед ним поломаться, похвастаться и рассказать ему свои подвиги, не показывая, впрочем, и вида, что ему самому рассказать хочется. Вот, дескать, какой я был человек!»¹⁸

Можно сказать, что тип «нестрашного» убийцы занимает вторую ступень в метафизической типологии слабости и силы личности, которую развивает в своих произведениях Достоевский. На первую, низшую ступень в ней можно поместить Прохарчина, на мгновение представившего, что он — «вольнодумец», «Наполеон», и чиновника, вообразившего себя Гарибальди; их «воля к власти» оказалась настолько слабой, что ее раскрепощение порождает только *мысль, мечту* о своей власти над миром, но ее не хватает для реального действия, оно парализуется страхом за свое «беззаконие». В отличие от этого, у «нестрашных» убийц обнаруживается достаточно воли, чтобы начать действовать и совершить реальное беззаконие, выводящее их за пределы общества нормальных людей. Но их внутренней силы хватает только на один взлет «беззаконной» свободы, после чего они снова опускаются до состояния тихих и смиренных людей, скорее склонных подчиняться, чем господствовать.

Но есть еще третья, высшая ступень внутренней силы личности; люди, находящиеся на этой ступени, вызывали наибольший интерес писателя. Можно сказать, что описание этого типа составляет идейное ядро «Записок из Мертвого дома». Достоевский изображает двух по-настоящему *сильных* людей с очень простыми (конечно, вымышленными) фамилиями — Орлов и Петров.

Каторжные «сильные люди»

Орлов предстает в изображении Достоевского как абсолютный злодей, «резавший хладнокровно стариков и детей, — человек со страшной силой воли и гордым сознанием своей силы»; при этом писатель отмечает, что он «был малого роста и слабого телосложения»¹⁹, т.е. внутренняя энергия его личности никак не была связана с физической силой. «Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду

достичь предположенной цели»²⁰. Интересно, что в этом рассуждении Достоевский говорит о «победе над плотью», но не использует стандартное выражение «победа *духа* над плотью», и, видимо, это не случайно. «Дух» в философии его эпохи, да и в обыденном словоупотреблении обозначал высшее начало человеческой личности, разумное и светлое начало. Приписывать Орлову «дух» в качестве ядра личности в таком смысле было бы затруднительно²¹. Скорее всего, в данном случае Достоевский в качестве того начала, которое определяло силу воли Орлова и подчиняло себе его плоть, мыслит некую иррациональную глубину личности, которая находится *за пределами самого различия духа и плоти*, — это некая «самость», определяющая сложение и особенности плотского строения человека, точно так же, как и важнейшие особенности его душевно-духовной сферы.

Орлов обладал настолько сильной волей, внутренняя энергия его личности была так велика, что он ощущал свое полное превосходство над всеми окружающими людьми. Причем ему даже не надо было делать каких бы то ни было усилий для этого, любой сразу признавал превосходство Орлова над собой. Именно поэтому, отмечает Достоевский, Орлов совершенно не был тщеславен, в отличие от подавляющего большинства остальных каторжан, для которых тщеславие было способом напомнить о мгновениях (и только мгновениях) своего превосходства. Но самым выразительным качеством Орлова для Достоевского стало его абсолютное безразличие к моральной оценке его преступлений. Встретившись с ним в тюремном лазарете, куда Орлова поместили после жестокого наказания, Достоевский расспрашивал его обо всей его жизни, пытаясь найти хоть какие-нибудь признаки раскаяния, угрызений совести. Но в Орлове не было даже намека на это, своими расспросами Достоевский только вызывал презрение Орлова, который видел в нем «существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее»²².

Однако вовсе не Орлов, действительно убивший множество людей и вызывающий без всяких усилий со своей стороны уважение каторжан, оказывается в «Записках из Мертвого дома» «высшей», самой сильной личностью. Безусловно, *главным* персонажем документальной повести Достоевского является Петров, с которым писатель не только прожил бок о бок несколько лет каторги, но с которым у него возникли какие-то странные отношения, отдаленно напоминающие дружбу, насколько это вообще возможно в таких условиях.

Поскольку с Петровым Достоевский имел гораздо более тесное и длительное общение, чем с Орловым, которого он видел только несколько дней в тюремном лазарете, описание характера Петрова оказывается гораздо более подробным. Но важнее даже не это, а то, что это описание оказывается *совершенно другим*, чем описание личности Орлова, хотя писатель явно относит их к одному и тому же типу

сильных людей. Орлов предстает на страницах записок достаточно типичным и, так сказать, «прямолинейным» злодеем, который вызывает страх и определенное уважение именно в силу тех преступлений, которые он совершил. Описание Петрова, наоборот, совершенно не соответствует представлению о жестоком и безжалостном преступнике, сложившемуся в отношении него на каторге. В образе Петрова Достоевский подчеркивает какую-то почти детскую непосредственность, наивность, выражающуюся в его бесконечных «детских» вопросах про все на свете. При этом он выступает в отношении Достоевского (признаем рассказчиком все-таки его, а не вымышленного Александра Петровича Горянчикова) весьма заботливым и внимательным другом-слугой, помогающим во множестве разных дел — от приготовления чая до мытья в бане.

Тем не менее, внутренняя сила Петрова оказывается даже еще более радикальной, чем сила Орлова. Эта тема впервые возникает в разговоре писателя с польским дворянином М., который попал на каторгу по политическому делу. Вот как об этом пишет Достоевский: «Я стал о нем справляться. М., узнавши об этом знакомстве, даже предостерегал меня. Он сказал мне, что многие из каторжных вселяли в него ужас, особенно сначала, с первых дней острога, но ни один из них, ни даже Газин, не производил на него такого ужасного впечатления, как этот Петров. — Это самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных, — говорил М. — Он на все способен; он ни перед чем не остановится, если ему придет каприз. Он и вас зарежет, если ему это вздумается, так, просто зарежет, не поморщится и не раскается. Я даже думаю, он не в полном уме.

Этот отзыв сильно заинтересовал меня. Но М. как-то не мог мне дать отчета, почему ему так казалось. И странное дело: несколько лет сряду я знал потом Петрова, почти каждый день говорил с ним; все время он был ко мне искренно привязан (хоть и решительно не знаю за что) — и во все эти несколько лет, хотя он и жил в остроге благо-разумно и ровно ничего не сделал ужасного, но я каждый раз, глядя на него и разговаривая с ним, убеждался, что М. был прав и что Петров, может быть, самый решительный, бесстрашный и не знающий над собою никакого принуждения человек. Почему это так мне казалось — тоже не могу дать отчета»²³.

Достоевский сознательно подчеркивает странный парадокс: Петров не совершил за все время пребывания на каторге ничего ужасного, да и само преступление, приведшее его на каторгу не выглядит откровенным злодейством, как в случае Орлова (Петров, будучи солдатом, заколол своего начальника за то, что тот ударил его на учениях); и тем не менее в общем мнении, с которым Достоевский полностью соглашается, он оценивается как самый решительный и «ужасный» человек. При этом Достоевский признает невозможным

рационально объяснить влияние Петрова на людей. Нам кажется, что здесь писатель явно намекает на какой-то *мистический* оттенок в этой способности Петрова и тем самым подталкивает нас к тому, чтобы увидеть сходство этого реального персонажа его записок с Муриным из повести «Хозяйка», созданием его художественного воображения.

Единственный приводимый писателем пример, демонстрирующий способность Петрова покорять людей своей воле, только подтверждает это предположение, поскольку в нем мы не видим никаких рациональных причин власти Петрова. Достоевский рассказывает, как Петров поспорил с арестантом-силачом Антоновым (при этом подчеркивает, что последний был «высокого роста, злой, задира, насмешник и далеко не трус»), который не отдавал ему какую-то вещь, которую Петров считал своей. И далее следует описание финала этой истории: «Петров вдруг побледнел, губы его затряслись и посинели; дышать стал он трудно. Он встал с места и медленно, очень медленно, своими неслышными, босыми шагами (летом он очень любил ходить босой) подошел к Антонову. Вдруг разом во всей шумной и крикливой казарме все затихли; муху было бы слышно. Все ждали, что будет. Антонов вскочил ему навстречу; на нем лица не было...»²⁴. Через мгновение Антонов бросил Петрову вещь, которую тот оспаривал.

Преимущество Петрова по сравнению с Орловым проявляется как раз в том, что сила воли Орлова предстает более понятной в своей «механике» и как бы более прямолинейной, направленной на эгоистическое господство личности над средой. В Петрове же есть какая-то радикальная неопределенность, *свобода проявлений, свобода возможностей*, и мы понимаем, что она может иметь не только негативные проявления (преступление, господство, подавление других), но и *позитивные*. Именно это и является главным итогом наблюдений Достоевского над каторжными сильными людьми: та «воля к власти», которая в преступнике проявляется в предельно негативной форме, может и должна иметь, при более правильном развитии человека, позитивное применение, и тогда вместо злодея мы получим великого деятеля человечества. Если же в человеке нет этой развитой «воли к власти», то при самой позитивной направленности его мыслей и желаний, он останется ничего не значащим существом, пример чего писатель дает в образе еще одного заключенного — Акима Акимовича, человека абсолютной рутины; «всю жизнь свою провел он регулярно, однообразно, боясь хоть на волосок выступить из показанных ему обязанностей»²⁵.

Почему же Петров, самый сильный человек, не имеющий себе равных в каторжной среде, выбрал автора записок (Достоевского) в качестве того, кто не только достоин общения, но кому Петров был готов *служить*, почти так же как другие, «низменные» люди? Достоевский делает вид, что не понимает этого, однако, кажется, что он просто

не хочет прямо говорить о еще одной важной истине, к которой он пришел на каторге и которая касается уже его самого. Описывая отношение Петрова к себе, писатель находит в нем то же самое чувство превосходства, которое он видел в отношении к себе Орлова: «Считал ли он меня недоросшим, неполным человеком, чувствовал ли ко мне то особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому слабейшему, признав меня за такое... не знаю»²⁶.

Однако характерно, что здесь Достоевский все-таки выражается несколько неопределенно, и при этом добавляет: «Я уверен, что он даже любил меня, и это меня очень поражало»²⁷. С другой стороны, чуть раньше Достоевский утверждает и другое: «Говорил он со мной всегда чрезвычайно непринужденно, держал себя в высшей степени на равной ноге, то есть чрезвычайно порядочно и деликатно. Если он замечал, например, что я ищу уединения, то, поговорив со мной минуты две, тотчас же оставлял меня и каждый раз благодарил за внимание, чего, разумеется, не делал никогда и ни с кем из всей каторги»²⁸.

Совершенно очевидно, что на деле отношение Петрова к автору записок было совсем другим, чем явно презрительное отношение Орлова. И если мы задумаемся о причинах этого различия, то поймем, что в Достоевском Петров увидел *равного себе*, такого же *сильного* человека. И его покровительственный и даже немного презрительный тон в отношении писателя связан, вероятно, с тем, что он, инстинктивно признавая в нем внутреннюю силу, полагал, что сам Достоевский не чувствует и не ценит ее. Для Петрова невозможно было себе представить, что развитая «воля к власти» может находить себе иное выражение, чем то, какое было принято у каторжных людей – выражение в форме господства над другими. И в этом состоит уже безусловное превосходство писателя над Петровым и остальными сильными каторжными людьми. Они не в состоянии были понять, что он, обладая такой же сильной волей как они, подчинил ее более высоким целям, и она проявляется в созидании и творчестве, а не в разрушении. Каторжным людям не дано было понять, что именно благодаря этой неведомой для них направленности его силы он не сгинет в этой жизни, как бесследно сгинут они, несмотря на всю свою силу, а сумеет оставить в ней свой *неизгладимый* след и хотя бы немного *изменит* эту жизнь в соответствии с требованием своей «воли к власти».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 15 т. Т. 3. – Л.: Наука, 1988. – С. 207.

² Там же. – С. 214.

³ Там же. – С. 215.

⁴ Там же. – С. 329.

⁵ *Достоевский Ф.М.* Петербургские сновидения в стихах и прозе // *Достоевский Ф.М.* Собр. соч. В 15 т. Т. 3. – С. 488.

⁶ *Достоевский Ф.М.* Господин Прохарчин // *Достоевский Ф.М.* Собр. соч. В 15 т. Т. 1. – Л.: Наука, 1988. – С. 329.

⁷ Там же.

⁸ *Достоевский Ф.М.* Записки из Мертвого дома. – С. 279.

⁹ См.: *Евлямпиев И.И.* Достоевский и Ницше: на пути к новой метафизике человека // *Вопросы философии.* 2002. № 2. – С. 102 – 118.

¹⁰ Этой точки зрения придерживался Т. Манн, который видел следы влияния романа «Преступление и наказание» в трактате «Так говорил Заратустра» (см.: *Манн Т.* Достоевский – но в меру // *Манн Т.* Собр. соч. В 10 т. Т. 10. – М., 1970. – С. 329; см. также: *Дудкин В.В.* Достоевский в немецкой критике (1882 – 1925) // *Достоевский в зарубежных литературах.* – Л., 1978. – С. 217 – 218).

¹¹ Подробнее см.: *Евлямпиев И.И.* Первый опыт религиозно-философских исканий в творчестве Достоевского (повесть «Хозяйка») // *Достоевский и мировая культура.* Альманах № 27. – СПб., 2010. – С. 21 – 39.

¹² *Достоевский Ф.М.* Записки из Мертвого дома. – С. 270.

¹³ Там же. – С. 362.

¹⁴ Там же. – С. 304.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. – С. 305.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же. – С. 306.

¹⁹ Там же. – С. 255.

²⁰ Там же. – С. 256.

²¹ А. Суконик в статье, основанной на совершенно правильном тезисе о том, что главная тема «Записок из Мертвого дома» – это анализ проблемы силы и слабости человека, делает вывод, что именно Орлов является «высшим» из сильных людей в повести Достоевского, и обосновывает это именно тем, что «воля Орлова осуществляет себя полностью и в своей собственной сфере – сфере духа, в которую нет доступа материи» (См.: *Суконик А.* «Записки из Мертвого дома»: исследование силы и слабости воли человека // *Достоевский и мировая культура.* Альманах № 28. – М., 2012. – С. 334). Нам кажется, что здесь исследователь явно искажает систему идей Достоевского, который ни разу в отношении Орлова не упоминает понятия «дух» и многозначительно сообщает, что Орлов умер, не выдержав второй половины назначенного ему наказания, про Петрова же говорится, что он, возможно, «доживет до седых волос и преспокойно умрет от старости» (*Достоевский Ф.М.* Записки из Мертвого дома. – С. 304). Для нас очевидно, что не Орлов является *самым сильным* человеком в повести.

²² *Достоевский Ф.М.* Записки из Мертвого дома. – С. 257.

²³ Там же. – С. 300 – 301.

²⁴ Там же. – С. 301.

²⁵ Там же. – С. 326.

²⁶ Там же. – С. 303.

²⁷ Там же.

²⁸ Там же. – С. 298.

Аннотация

В статье рассматриваются философские аспекты повести «Записки из Мертвого дома», в которой Достоевский показывает, как в экстремальных условиях каторги обнажаются два метафизических полюса человеческой сущности – зависимость людей друг от друга и укорененное в каждом стремление господствовать над окружающим бытием. Второе слагаемое соответствует понятию «воли к власти» в философии Ф. Ницше. Через образы каторжных «сильных людей» Достоевский показывает, что внутренняя сила человека не допускает моральной оценки и может иметь как негативное, так и позитивное выражение.

Ключевые слова: «Записки из Мертвого дома», Достоевский, метафизика человека, воля к власти, Ф. Ницше.

Summary

The article considers philosophical aspects of the novel «The House of the Dead». In the novel Dostoyevsky shows how the extreme conditions of penal colony expose two metaphysical poles of human essence – dependence of people from each other and the aspiration to dominate over others inherent to them. The second pole corresponds to the concept «will to power» in F. Nietzsche's philosophy. In images of «strong men» of penal colony Dostoyevsky shows that the internal power of a person is beyond moral appraisal and can be expressed both negatively and positively.

Keywords: «The House of the Dead», Dostoyevsky, metaphysics of man, the will to power, F. Nietzsche.